Вадим Куликов

# КРАСНЫЙ
# свет фонарей



Роман о городе, который не спит

**Вадим Куликов**

# Красный свет фонарей

*https://litres.ru/74818254*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Одно сообщение. Полсекунды на дороге. И человек, который впервые за три года не знает, кому принадлежит его жизнь.

Он будет искать правду. Она — прятать её. А город будет считать фонари на другом берегу.

# Вадим Куликов
# Красный свет фонарей

**Красный свет фонарей**

Одно сообщение. Полсекунды на дороге. И человек, который впервые за три года не знает, кому принадлежит его жизнь.

Он будет искать правду. Она — прятать её. А город будет считать фонари на другом берегу.

**Глава 1. Красный**

Дождь идёт третий день, но сегодня он какой-то неправдоподобно лёгкий — будто небо поплакало чуть-чуть, для приличия. Капли бьют в визор и разбиваются в тонкие ручейки, и сквозь них фонари набережной вытягиваются в длинные дрожащие столбы света.

Я выруливаю с проспекта на набережную. Поздно. Пусто. Где-то за спиной — редкие машины, шум мокрого асфальта, запах воды и выхлопа. Впереди — река: тёмная, гладкая, и луна лежит на ней пополам — половина в воде, половина в тумане. Красиво. Отвратительно, как красиво.

По профессии я восстанавливаю то, что люди разбили. Ржавые баки, сломанные рамы, мотоциклы, которые привозят к нам после аварий — иногда с фотографиями того, что было раньше. «Сделай, как было», — говорят владельцы. И я делаю: полдня шлифую, половину ночи крашу, и железо

слушается, потому что железу всё равно, почему оно было сломано.

С людьми так не работает. Я всегда это знал. Сегодня узнаю, насколько.

Телефон оживает в кармане, когда я уже сворачиваю на набережную, — экран светится сквозь ткань. Даша. Она редко пишет вечером, ещё реже — в такой час. Читать на ходу нельзя: это правило я знаю всей кожей и сам десятки раз крутил пальцем у виска вслед тем, кто печатает за рулём. Значит — голос. Голос как-нибудь расскажет без строчек. Голосом можно спросить, голосом можно ответить.

Я глушу двигатель у самой ограды. Снимаю перчатку только после того, как мотоцикл стоит на подножке, — привычка, которой дед гордился бы. Телефон в руке. Её имя на экране. Жму вызов.

Длинный гудок. Второй. Третий — он тянется так, что успеваешь посчитать все свои ошибки по именам. Гудки идут, как струна на морозе: тонкие, звенящие, без единого ответа.

Тишина. Она не берёт.

Перезваниваю — на всякий случай, как перезванивают, когда первый раз показалось, что сбой. Сухой холодный голос: «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети». Она не сбросила. Она выключила телефон. Люди не выключают телефон, чтобы не разговаривать с городом, — они его выключают, чтобы не разговаривать с одним кон-

кретным человеком.

Она не берёт трубку — и выключает телефон. Эти два факта ложатся один на другой, как две доски на стройке: не туда положишь — всё развалится.

Три строки.

«Я беременна. Не от тебя. Я люблю его».

Меньше, чем нужно, чтобы отменить доставку пиццы.

Слово «беременна» — какое-то длинное, чужое, с лишними буквами. И что-то не сходится — на уровне кожи, чуть ниже сознания. Она всегда писала имена. «Съезди к Андрею за ключом». «Оля ждёт в шесть». Она называла по имени всех — даже кота соседки. А тут — «его». Другого человека не бывает без имени. Я не успеваю додумать это до конца.

Потом больше никогда не вспомню об этом вовремя.

Я не отвечаю. Ставлю «прочитано» — так спокойно, что сам себе пугаюсь. Внутри — не крик. Внутри очень тихо, как в квартире, где вы долго жили вдвоём, а потом один из вас собрал вещи и забрал всё, кроме эха.

Я стою с телефоном в руке и не знаю, куда деть глаза. Поэтому поднимаю их.

Река передо мной тёмная, гладкая, и луна лежит на ней пополам — половина в воде, половина в тумане. Фонари на другом берегу вытянулись в столбы света, туман подполз к воде и лежит на ней, как белое одеяло. Капли дождя висят в свете — редкие, медленные, будто падают в замедленной съёмке.

Я смотрю на это и не могу насмотреться. Растерянно, как на чужой праздник, на который сам себя и позвал. Красиво. Отвратительно, как красиво. Мир не имеет права так выглядеть — не сегодня, не в эту минуту. Но он не спрашивает меня и светит так, будто ничего не случилось.

Хорошо, что красиво. Пока ещё красиво — значит, ночь ещё не кончилась.

Я надеваю перчатку. Застёгиваю. Проверяю — зачем? — застёжку на подбородке. Включаю музыку — тот трек, который она ненавидела: я всегда ставил его назло, а она в конце концов стала подпевать.

Я даю газу. Набережная отступает рывком, фонари сливаются в сплошную нить огня. Есть только скорость — единственное, что я понимаю сейчас: если ехать, не придётся думать. А думать нечем.

Её звали Даша.

Скорость не спасала. Она просачивалась сквозь рёв ветра, как вода в старую куртку, — и вот я уже видел её так отчётливо, что жмурился под визором.

Как она стояла на табурете посреди нашей квартиры, в моей старой футболке, с валиком в руке, и красила стену в «пепел и молоко» — цвет, который выбрала сама и которым гордилась, как своим открытием. На скуле у неё осталась полоса краски, и я два дня не говорил ей об этом — просто смотрел и не мог наглядеться. Как она ненавидела тот трек, что орёт у меня сейчас в наушниках: морщила нос и говорила —

«выключи, вокал как у сломанного холодильника». А через полгода я застукал её на кухне за тем, что она подпевала. Так и не призналась. Мы оба многое не признавали друг другу — и я думал, что это и есть близость.

У неё были руки, которые не умели сидеть спокойно: перебирали пуговицы на моей куртке, крутили кольцо, рисовали пальцем сердца на запотевшем стекле — а я делал вид, что не вижу. Она знала имена всех — кассирши, соседского кота, водителя автобуса — и обращалась к ним по имени, и ей отвечали, как своей. Она смеялась так, что сдавались незнакомые люди: в поликлинике, в маршрутке, в очереди за хлебом — оборачивались и не могли на неё сердиться. Мы ездили к морю, на ту заправку за городом, где варят лучший кофе в области, — она сидела за моей спиной и вцеплялась в мою куртку так, что я чувствовал её пальцы даже сквозь ткань.

И вот теперь она сидела там же — позади, за спиной, — только рук своих я больше не чувствовал.

Дальше память покажет мне этот вечер кусочками — и я уже не буду знать, что забылось само, а что я запретил себе помнить. Красный фонарь на изгибе набережной: почему-то именно красный, огромный, тёплый, как капля крови. Мокрый асфальт. Свой собственный крик — короткий, удивлённый, будто чужой.

А сначала — светофор. Он мигает жёлтым на пустом перекрёстке, и я не сбрасываю газ. Зачем? Никого нет. Ночь

моя уже кончилась, чего мне теперь бояться.

За поворотом мир расщепляется на кадры — так бывает только в рекламе страховок.

На дорогу выбегает собака.

Рыжая. Худая. С ободранным ухом. Я знаю её — кормил у сервиса горсткой сухарей, и она тогда виляла хвостом, будто мы старые друзья. Сейчас она не виляет. Она несётся через дорогу по своим собачьим делам, не глядя по сторонам, — и я успеваю подумать что-то бессмысленное, вроде «не смею», — и выворачиваю руль.

Раньше, чем успеваю испугаться.

Заднее колесо соскальзывает с мокрой разметки. Асфальт полощется подо мной, как волна. Я ловлю мотоцикл коленом, локтем, плечом — всем, что осталось от физики, — и не ловлю. Искры. Скрежет, будто кто-то пилит мир пополам. Дождь в лицо — внезапно тёплый, будто кто-то плачет мне в затылок.

Ограда на изгибе набережной выныривает из темноты слишком быстро — или я слишком медленно. Она не отбрасывает меня — она подставляется, как будто ждала весь вечер. Я перелетаю через неё и чувствую, как земля ударяет в бок — так хватает за шиворот взрослый, вытаскивая мальчишку с проезжей части.

Потом — не темнота. Пока не темнота. Полусвет, глина под щекой, дождь, который падает уже не на меня, а куда-то мимо.

И плач. Сбоку, ниже по откосу — глухой, сдержанный, как плачут не от боли, а от страха.

Потом кто-нибудь скажет: из-за собаки. И будет прав — и неправ сразу. Собака просто бежала по своим делам. Я уже летел до неё. Три строки летели со мной.

Я ползу. Не помню решения — помню глину под ладонью, холодную, скользкую, и то, что правая рука не слушается вовсе, а левая тянет меня вниз по откосу, к кустам, откуда идёт этот звук. Свет фонаря падает сверху, косой, и в нём пляшут капли — будто кто-то третий стоит над нами и смотрит.

Он лежит в кустах, вниз лицом, вцепившись в них обеими руками. Мокрая куртка не по погоде. Нога, затёкшая между двух корней, под неестественным углом. Рядом на глине сидит плюшевый заяц — толстый, с оторванным усом, промокший до того, что сдался: обвис, как мокрая варежка.

— Не бросай, — говорит он, не поднимая головы. — Не бросай. Пожалуйста.

— Не брошу, — говорю я. — Отпусти кусты. Возьми меня за руку. Только за руку.

Он отпускает. Его пальцы вцепляются в моё запястье — тонкие, сильные не по возрасту, дрожащие. Я тяну. Корни отдают его так неохотно, будто он был их. Глина едет под нами, мы скользим вместе, и я упираюсь коленом, и где-то рвётся на мне ещё одна вещь, которой потом не будет уже никогда. Нога выходит. Он кричит — коротко, в голос, — и сразу зажимает рот, потому что, видимо, решил, что кричать

нельзя.

— Целая? — спрашиваю я.

— Целая, — шепчет он. — Просто синяя.

— Синие ноги — это по нашей части, — говорю я. — У мотоциклистов это как значок.

— Ты весь в крови, — говорит он.

— Это кетчуп, — говорю я. — Я мотоциклист, у нас всё так: кетчуп, горчица, вино. На выбор.

Он смотрит на мою разбитую ладонь. Хочет улыбнуться — и не может: губы дрожат, глаза на мокром. Потом вдруг выдаёт — быстро-быстро, как будто боится, что не успеет: — Это я. Из-за меня. Я за ней побежал, а её не догнал. Если б я не полез… — Он задыхается. — Она всегда от меня убегает, а я всегда бегу. Мне нельзя её догонять, я знаю. Но она маленькая. Она же одна.

Он говорит «она маленькая» о собаке, которая годами живёт во дворе, — и я не спорю. В его глазах стоит вода, но он её не выпускает: взрослые, наверное, не любят, когда ревут. Я знаю этот взгляд. Смотрю в зеркало каждое утро.

— Слышь, — говорю я. — Кетчуп. Помнишь? Кетчуп.

Он роняет улыбку — коротко, сквозь слёзы, всем лицом сразу. И впервые за вечер смеётся. И что-то у меня в груди от этого ломается. Не в плохом смысле. Просто ломается.

Дальше я помню глину, свет фонаря и то, что я тащил его вверх по откосу — на себе, на одной руке, а он шёл, помогал, ставил босую ногу на мои следы, будто учился ходить зано-

во. До пня у ограды оставалось метров десять. Я не помню, как мы их прошли. Помню, как он сел на пень, как я сказал «сиди, не вставай» и как темнота наконец дождалась своего часа и закрыла мне глаза.

Темнота.

Очнулся от тёплого шершавого языка — настойчивого, деловитого. Надо мной было небо в мелком дожде, а рядом сидела собака — та самая. Успела. Быстрее меня, как всегда у неё всё получалось. Смотрела в глаза и не виляла хвостом — просто смотрела, как смотрят на тонущего. Единственное трезвое существо на набережной.

— Ты умер? — спросили рядом.

Я повернул голову. На пне у ограды сидел мальчик — там, куда я его дотащил. Куртка промокла насквозь, заяц снова был у него в руках, и оба они смотрели на меня с одинаковым страшным спокойствием существ, которые уже всё поняли.

— Пока нет, — сказал я.

Он всхлипнул — и тут же зажал себе рот ладонью, как будто всхлипы были чем-то запрещённым. Дал себе слово не реветь. Нарушил его. Снова зажал рот.

— А тебя тоже выкинули? — спросил он.

Я хотел ответить что-нибудь взрослое, обтекаемое. И не смог: три строки из кармана легли поверх всего — на боль, на дождь, на мокрого зайца.

— Вроде того, — сказал я.

Он кивнул так серьёзно, будто мои слова всё объяснили. И

подвинулся на пне — на пару сантиметров, но в мою сторону. Куда деваться семилетнему рядом с окровавленным человеком, если не к нему.

— Как тебя зовут? — спросил он шёпотом, будто имя — это пароль.

— Дима. А тебя?

— Стёпа. — И после паузы, очень тихо, с набранным воздухом: — Мне семь. Это почти взрослая жизнь.

— Семь — это серьёзно, — говорю я. — Семь лет — это уже почти взрослая жизнь.

Он кивает и впервые за вечер выпускает зайца из рук. Кладёт его на колени — рядом, не в стороне, — как напарника.

Потом, по дороге к дому, он расскажет мне всё запинаясь, и я соберу историю целиком. Собака вырвалась у бабушки: он приоткрыл дверь — а она стрелой. Он побежал за ней через двор, вниз, на набережную, в чём был, босиком. Собака перескочила ограду — а он полез следом, догнать, вернуть, потому что «она маленькая». И не удержался.

— И ты меня услышал? — спросит он. — Сквозь дождь?

— Услышал, — скажу я. — Ты кричал так, что меня разбудил.

Это будет даже правдой — с той стороны, с которой правду считают.

Я отдал ему свою куртку, и он завернулся в неё, как в дом, — сгорбился, спрятал нос в воротник, и от этого стал ещё меньше. Довёл до подъезда. Бабушка повторяла мне «спаси-

бо» столько раз, будто это моё имя, — а потом начала врать мне в лицо: «сам упал, сам, вы не при чём».

Стёпа стоял в дверях и смотрел на бабушку во все глаза. Потом на меня. Потом сказал — громко, на весь подъезд, наперекор всем взрослым разом:

— Это я виноват. Я сам полез.

Ему никто не поверил. Взрослые умеют не слышать то, что им невыгодно, — в этом я теперь специалист. Но он всё-таки сказал. Это я запомнил.

На площадке он обернулся:

— А собака? Она же одна. Она вернётся?

— Вернётся, — сказал я. — Она вон — и не уходит.

Он посмотрел на собаку. Собака смотрела на него — оба понимали друг друга без слов, в этом они были сильнее нас. Стёпа помахал из окна второго этажа. Я помахал в ответ.

Собака шла за мной всю дорогу — в трёх шагах, как сопровождающий. Когда я вернулся к мотоциклу — он лежал на боку, с распоротым пластиком, но живой, как и я, — она села рядом и смотрела, как я проверяю руль, тормоз, свет.

— Иди отсюда, — сказал я ей. — Нечего тут смотреть.

Она не ушла. Лизнула руку — ту самую, которой я её отталкивал, — и легла в лужу света от фонаря.

Фонарь горел красным всё это время — всё, пока я ползал по глине и вытаскивал мальчишку. Потом мигнул — и стал обычным, жёлтым, равнодушным.

Я сидел на асфальте мокрый до нитки, с рассечённой бро-

вью, рядом с живым мотоциклом и живой собакой. Живой мальчик смотрел на меня из окна второго этажа — там, за рамой, в свете бабушкиной лампы. Три живых. Я трижды сегодня был лишним в этом списке — и не жалел.

Я держал телефон с тремя строками, от которых в мире не осталось ничего целого.

Всё остальное было цело. Кроме меня.

**Глава 2. Вода**

Вода текла из крана уже пять минут.

Я стояла в ванной и смотрела, как она бьёт в белый фаянс, разбивается, стекает. Это было два месяца назад. Тест лежал на краю раковины — маленькая белая полоска, которая должна была решить всё. Я не смотрела на него. Я смотрела на воду, потому что вода — честная: она просто течёт, и ей не нужно ничего решать.

Потом я посмотрела.

Две полоски.

Я не закричала и не заплакала. Я закрыла кран и очень осторожно, как стекло, села на край ванны. В квартире было тихо. Дима был в мастерской — он всегда в мастерской по вечерам, у него железо, дед, запах бензина и покоя. Я думала: у меня есть время. У меня есть целый вечер, чтобы придумать, как сказать. Я репетировала слова перед зеркалом, и каждое из них выходило фальшивым.

Два месяца я носила это в себе. Два месяца я просыпалась ночью и клала ладонь на живот — совсем легко, как кладут

руку на спящего, чтобы не разбудить. Два месяца я улыбалась Диме за завтраком и врала ему в лицо, и он верил, потому что он верит мне во всё.

Я сказала только Оле. И ещё одному человеку — тому, кому я позвонила этой ночью и молчала в трубку. Он один знает то, чего не знает даже Оля.

Врач тогда сказал слово, которое я до сих пор ношу в себе, как осколок под кожей. И сказала я себе другое: если я скажу Диме — он сломается. А если не скажу — сломаюсь я. Я выбрала, кого ломать.

Сегодня я дописала этот вечер до конца. Я собрала сумку — ту самую, синюю, в которой всегда лежали его запасные перчатки, потому что я знаю: он потеряет. Я написала три строки. Стёрла. Написала снова. Стёрла имя — оно просилось в текст само, как вода под дверь, — и за это место встало «его». Без имени. Так было нужно.

Я отправила. Через минуту позвонил он. Я смотрела на экран — на его имя — и не взяла. Когда позвонил второй раз, я уже успела выключить телефон.

В дверь позвонили. За дверью стоял он — тот, кому я позвонила перед этим, единственный, кто должен был быть рядом сегодня. Он не спросил ничего. Он взял мою сумку и сказал только: «Пойдём».

— Ты уверена? — спросил он в машине.

— Я не уверена ни в чём! — крикнула я. — Понимаешь? Ни в чём! Ни в одном слове, которое я написала! И если

ты сейчас спросишь ещё раз — я выйду и пойду пешком, в дождь, куда угодно!

Он замолчал. Он умеет молчать так, что рядом с ним становится спокойно. Он включил дворники — они заработали вразнобой, скребя по стеклу, и вода потекла по лобовому стеклу целыми реками.

Мы ехали через город, и я смотрела на мокрое окно. На той стороне улицы стояли люди под зонтом, ели что-то из бумаги, смеялись. Обычная жизнь. У меня внутри была вода — та самая, из крана, честная и бесконечная.

Я положила ладонь на живот и закрыла глаза.

Впереди был мост.

Сначала был звук. Он не ворвался в машину — просочился, как вода под дверь: низкий, рычащий, знакомый до тошноты. Не «какой-то мотоцикл». Наш. Звук, который будил меня по утрам и возвращался с работы за три улицы до подъезда.

Лёша посмотрел в зеркало — и не спросил, зачем.

В конце моста, из-под дуги фонаря, выплывала точка света. Потом — силуэт. Потом я узнала всё сразу: посадку, наклон к рулю, распоротый пластик — наш пластик, я видела его живым в прошлую субботу. Семьдесят метров. Тридцать. Я прижала ладонь к стеклу — не чтобы он увидел. Просто между нами было стекло, и я хотела, чтобы хоть что-то между нами было моим.

Два слова стояли у меня на зубах — так стоят вопросы, на

которые нет ответов. Я открыла рот.

Мы прошли мимо друг друга со встречной скоростью — сто сорок километров в час — за полторы секунды. Он смотрел вперёд, в дождь, в свою дорогу. Мимо ладони, которая опоздала на три года.

— Показалось, — сказала я.

Лёша молчал до поворота. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Я тебя не спрашивал.

**Глава 3. Мост**

Она бежит за мной.

Я замечаю её в зеркале на втором километре — рыжий ком, прыгающий по лужам. Думаю: померещилось. Но на третьем километре ком всё ещё там, и тогда я сбрасываю газ до сорока — и она догоняет. Бежит, высунув язык; ободранное ухо развевается, как флажок. В её глазах ни капли сомнения: она решила идти со мной. Это её решение.

— Куда? — спрашиваю я. — Ты вообще куда собралась?

Она виляет хвостом. По её логике всё ясно: человек накормил сухарями — значит, человек её. Всё остальное — мелочи: ночёвки под машинами, чужие дворы, годы одиночества. Ей довелось пережить и не такое. Мой сегодняшний вечер по сравнению с её улицей — ерунда.

Единственное существо сегодня, которое выбрало меня само.

Я не могу её взять. Куда — к ней? Привести собаку под

её окно, постучать, показать: смотри, у нас теперь общая… Нет. И не могу оставить её на набережной — она побежит обратно на трассу, под машины, и вчерашнее «ты умер?» повторится с ней, а не со мной.

В мастерскую. Мастерская в двух километрах, там тепло, там есть старый плед под верстаком и миска из-под краски — я в ней уже что-то возил. Разворачиваю мотоцикл, и она бежит рядом, счастливая, будто это и был наш план с самого начала.

У мастерской я сыплю ей сухарей — целую горсть из ящика под кассой. Запираю её в мастерской, сам выхожу и сажусь на корточки у железной двери, потому что она скребёт с той стороны.

— Сидеть, — говорю я сквозь металл. — Это приказ. Единственный, который сегодня кто-то выполнил.

Скрести останавливается. Из-под двери — тихое недовольное фырканье. Согласие.

— Я вернусь, — говорю. И добавляю, сам не зная кому: — Я всегда возвращаюсь.

* * *

Дальше — прямо через город, по проспекту, наискосок, к её району. Двадцать минут. Двадцать минут, за которые можно передумать тысячу раз, но я не передумал ни единого.

На мосту через реку я встречаю её.

Я не знаю этого в тот момент. Узнаю потом — так, как узнают всё самое главное: слишком поздно и слишком по-

нятно.

Мокрый мост, четыре полосы, тусклые дуговые фонари через каждые тридцать метров. Впереди — встречный поток: две машины, фура. А из-за фуры — тёмный седан, чистый, аккуратный, с включёнными фарами. Он идёт медленно, уступает, как велит вежливость, — и на секунду поравнивается со мной — борт к борту, сквозь сплошную линию, — метра полтора между нами.

За рулём — мужчина. Я его не знаю. Мне нет до него дела.

А на переднем сиденье, у окна…

Силуэт. Женский. Рука прижата к стеклу — или это просто отсвет? Волосы тёмные от дождя. Голова повёрнута чуть-чуть — или мне кажется? — в мою сторону: на звук, на рёв, на то, как я иду по мосту.

Мы проходим мимо друг друга со встречной скоростью — восемьдесят плюс шестьдесят, сто сорок километров в час, — и за те полторы секунды, что длится этот полёт, во мне успевает подняться и упасть что-то огромное. Я почти кричу. Я уже поворачиваю голову — следом, в зеркало, —

Фара. Дождь. Обычная тёмная машина, которая уезжает по своим делам, к своим людям, в свою обычную жизнь.

Показалось.

Я еду дальше и говорю себе, что показалось. Что в этом городе тысячи женщин с тёмными волосами. Что та, которая написала мне три строчки, сейчас сидит с ним — с тем, чьё имя она даже не написала, — где-то в тёплом месте, и ей не

до мостов.

Я не знаю, что в ту же секунду она, сжавшись на чужом пассажирском сиденье, смотрела в мокрое окно на мой мотоцикл с распоротым пластиком — и узнала. Узнала по звуку, который полтора года был звуком её дома. Что она уже открыла рот, чтобы сказать Лёше: «Останови. Останови машину», — и сказала вместо этого: «Показалось».

Мы разминулись на расстоянии вытянутой руки и на целую жизнь.

* * *

Её двор я узнаю издалека — по тому самому окну на третьем этаже, где всегда горел свет.

Сейчас оно открыто.

Настежь. Занавеска вывернулась наружу и мокрым языком треплется на ветру.

Я не помню, как глушу двигатель. Помню только, что он рычит ещё, когда я уже бегу, и что звук мой — свой, домашний, — вдруг кажется мне визгом. Подъезд. Код. Дверь. Лестница — я беру её приступом, через две ступени, и перила обжигают ладонь через перчатку.

Она обижалась молча и раньше. Но чтобы исчезнуть на сутки — так не было ни разу.

Она могла наложить на себя руки.

Я думал, что это мысль. Оказалось — это знание. Оно просто ждало во мне с самого вечера, свернувшись, как пружина, и сейчас распрямилось.

Третий этаж. Я стучу. Раз. Два. Три.

— Открой! — Голос чужой, сорванный. — Открой, слышишь?!

Дверь молчит. Я вставляю ключ — руки не слушаются, ключ скребёт по скважине, как гвоздь по стеклу. Поворачиваю. Выхожу в тёмную прихожую.

Пусто. Крючок у стены голый — куртки нет. Обувь сгребена в кучу, будто её выгребали второпях. Из шкафа торчат распахнутые дверцы.

Я иду по квартире — не иду, лечу. Кухня. На столе её кружка с трещинкой-молнией, в ней холодный чай. Недопитый.

И табурет.

Табурет стоит у окна. Не задвинут. Окно распахнуто — дождь летит внутрь, мелкий, тёплый, и подоконник мокрый на ладонь в глубину.

Я подхожу к окну.

И смотрю вниз.

Во дворе, под фонарём, лежит что-то белое.

Фонарь — тот самый, во дворе, — вечно больной: то разгорается, то гаснет, моргает, как разбитое сердце. Сейчас он моргает, и в каждом его вздохе я успеваю увидеть по кусочку. Белое. Округлое. Рядом — тёмное пятно, которое расползается по асфальту и соединяется с лужами в одно большое чёрное.

Дождь висит между мной и двором стеклянной пеленой

— сквозь него видно всё, кроме деталей. А детали — это всё.

Я прижимаюсь лбом к стеклу. Дыхание оседает на нём белым туманом, я вытираю его рукавом, снова высовываюсь — фонарь гаснет. Внизу темнота. Фонарь разгорается: белое. Гаснет. Разгорается: пятно вокруг белого стало шире — или мне кажется? Вода. Это вода. Это просто вода. Или нет. Как отличить воду от того, о чём я думаю? С третьего этажа — никак.

Меня трясёт. Я открываю окно шире, влезаю на подоконник коленями — дождь тут же забирается мне за шиворот, — и кричу вниз, в мокрый двор:

— Даш!.. — Голос рвётся, как плохая связь. — Даша!!!

Двор молчит. Только где-то в подъезде напротив хлопает дверь — чужая, равнодушная жизнь.

Белое под фонарём не шевелится.

Не шевелится.

У неё было белое платье. Она надевала его на наш первый ужин — одно из тех, «ничего особенного», из которых состоит вся жизнь.

Дальше я не помню ничего по порядку. Помню отрывками, как снимки с дрожащей руки: лестница — три этажа, я держусь за перила, потому что без них падаю; дверь; двор; я бегу по асфальту и фонарь наконец разгорается — надолго, ровно, будто ждал; и я вижу — наконец-то вижу, вблизи, — и бросаюсь на колени в холодную воду.

Это шлем.

Белый шлем. Со стёршейся наклейкой-солнцем на затылке — я сам её клеил, в первый месяц, когда говорил ей, что она — моё лето. Тёмное пятно вокруг — просто вода: он лежит в луже, и лужа подтянулась к нему, как живая. Визор зачерпнул дождя и потемнел — снизу он тёмный, глянцевый, и в нём отражается небо. Вот что я видел с третьего этажа: белый шар и тёмная лужа. Светлые волосы и лицо, которое смотрит вверх.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.